

Л.И. ШЕСТОВ

АПОФЕОЗ БЕСПОЧВЕННОСТИ

Опыт адогматического мышления



ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ
МОСКВА

УДК 1(091)(47)
ББК 87.3(2)
Ш52

Серия «Эксклюзив: Русская классика»

Серийное оформление *А. Фереца, Е. Фереца*

Дизайн обложки *В. Воронина*

Шестов, Лев Исаакович.

Ш52 Апофеоз беспочвенности / Лев Шестов. —
Москва : Издательство АСТ, 2026. — 256 с. — (Экс-
клюдив: Русская классика).

ISBN 978-5-17-183942-0

Лев Исаакович Шестов (1866–1938) — русский мыслитель, писатель, историк литературы, его философские взгляды сформировались под влиянием Достоевского и Ницше.

Л. Шестов входил в элиту западной мысли своего времени: общался с Э. Гуссерлем, К. Леви-Строссом, М. Шеллером и М. Хайдеггером.

«Апофеоз беспочвенности (опыт адогматического мышления)» был опубликован в 1905 году и вызвал самые острые споры и самые полярные оценки в интеллектуальных кругах Москвы и Петербурга.

Именно эта работа стала философским манифестом Шестова, в ней он ставит вопросы ограниченности и недостаточности научного познания, недоверия к общим идеям и системам, неприятия формальной морали, универсальных нравственных норм и мировоззрений, заслоняющих реальную действительность во всей ее красоте и многообразии.

УДК 1(091)(47)
ББК 87.3(2)

Предисловие

I

Нужно оправдываться — сомнения быть не может. Вопрос лишь, с чего начинать: с оправдания формы или содержания настоящей работы. На Западе афористическая форма изложения — явление довольно обычное. Иное дело у нас. У нас полагают, что книга должна представлять собой последовательно развитую систему мыслей, объединенных общей идеей, — иначе она не оправдывает своего назначения... И точно, если бы книга не могла иметь никакого другого назначения, то афоризм был бы этим самым навсегда осужден. Разрозненные, не связанные между собой мысли в лучшем случае могли бы рассматриваться как сырой материал, который может получить некоторую ценность лишь после соответствующей обработки. Но по мере того как растет недоверие к последовательности и сомнение в пригодности всякого рода общих идей, не должно ли явиться у человека отращение и к той форме изложения, которая наиболее приспособлена к существующим предрассудкам? Говорю по опыту. Настоящей работе я менее всего предполагал придать ту форму, которую она сейчас приняла. Во мне уже до известной степени успела укорениться привычка к последовательному

и систематическому изложению, и я начал писать, даже довел до половины работу по тому же приблизительно плану, по которому составлял и свои предыдущие сочинения. Но чем дальше подвигалась работа, тем невыносимее и мучительнее становилось мне продолжать ее. Некоторое время я и сам не мог отдать себе отчета, в чем тут, собственно, дело. Материал давно готов — осталась только чуть ли не внешняя скомпоновка. Но то, что я принимал за внешнюю обработку, оказалось гораздо более существенным и важным делом, чем мне казалось. С удивлением и недоумением я стал замечать, что в конце концов «идеи» и «последовательности» приносилось в жертву то, что больше всего должно оберегать в литературном творчестве, — свободная мысль. Иногда незаметное, пустячное на вид обстоятельство — например, место, отведенное той или другой мысли, или случайное соседство — уже придавало ей нежелательный оттенок отчетливости и определенности, на которые я не имел никакого права и которых менее всего желал. А все «потому что» заключительные «итак», даже простые «и» и иные невинные союзы, посредством которых разрозненно добытые суждения связываются в «стройную» цепь размышлений, — боже, какими беспощадными тиранами оказались они! Я увидел, что так писать — для меня, по крайней мере, — невозможно. Ведь все мои собственные воспоминания читателя говорили мне, что самое обременительное и тягостное в книге — это общая идея. Ее нужно всячески вытравливать, если только не хочешь стать

ее данником и бессловесным рабом, а меж тем до тех пор, пока сохраняется принятая форма изложения, идея будет не только главенствовать, но и подавлять собой все содержание книги. Ибо каким иным путем может быть достигнуто единство и цельность в сочинении? Я убедился, что другого исхода нет, что нужно вновь разобрать по камням наполовину уже выстроенное здание и, рискуя возбудить против себя негодование читателей и в особенности критики, которая, разумеется, в нарушении традиционной формы не захочет увидеть ничего, кроме странной причуды, представить работу в виде ряда внешним образом ничем не связанных меж собой мыслей... Нет идеи, нет идей, нет последовательности, есть противоречия, но ведь этого именно я и добивался, как, может быть, читатель уже и угадал из самого заглавия. Беспочвенность, даже апофеоз беспочвенности, — может ли тут быть разговор о внешней законченности, когда вся моя задача состояла именно в том, чтоб раз навсегда избавиться от всякого рода начал и концов, с таким непонятым упорством навязываемых нам всевозможными основателями великих и не великих философских систем. Современный законодатель мысли устанавливает незыблемый принцип: уметь кончать. Но попробуйте допросить его: что дает ему право с такой уверенностью провозглашать свой закон — и вы увидите, что у него, в сущности, ничего, кроме «доказательств по аналогии», нет за душой. Дом без крыши никуда не годится — ergo, размышления без начала и конца должны быть от-

вергнуты. Но ведь дом и без печей не удовлетворяет своему назначению — неужели же из-за этого писателям обзаводиться дымовыми трубами и заслонками? Да и вообще ведь доказательства по аналогии — самые бедные и неубедительные доказательства, собственно говоря, даже совсем и не доказательства. А меж тем, сколько я ни напрягаю память, я не могу припомнить в пользу законченности больше ни одного серьезного довода. Домом с крышей исчерпывается все. Ведь нельзя же в данном случае сослаться на стремления нашего разума?! К чему только не стремился уже наш бедный разум и чего только уже не оправдывали его стремлениями! Когда-то, по крайней мере, на него возлагали большие надежды — и тогда было естественно потакать его потребностям, даже дурным привычкам, вкусам и капризам. Но теперь, когда все так ясно сознали его бессилие, когда даже метафизики взялись за естественные науки и ни на минуту не спускают глаз с теории познания, — неужели и теперь имеет смысл считаться с потребностями разума?! Не наоборот ли? Не является ли главной задачей нашего времени научиться искусству обходить (а то и разрушать) все те многочисленные заставы, которые под разными предлогами выстраивались в старину могущественными феодалами духа и лишь в силу вечного консерватизма трусливой и близорукой человеческой природы и доньше продолжают еще считаться непреодолимыми, даже «естественными» преградами для движения нашей мысли? Зачем кончать? Зачем последнее слово?

Зачем мировоззрение?.. Разумеется, я говорю о философии и о философах, о людях, стремящихся как можно более увидеть, узнать, испытать в жизни. Для обыкновенной житейской практики законченность по-прежнему останется неизменным догматом. Дом без крыши точно никуда не годится... Но незаконченные, беспорядочные, хаотические, не ведущие к заранее поставленной разумом цели, противоречивые, как сама жизнь, размышления — разве они не ближе нашей душе, нежели системы, хотя бы и великие системы, творцы которых не столько заботились о том, чтоб узнать действительность, сколько о том, чтоб «понять ее»? «Если моя теория не согласуется с фактами, то тем хуже для фактов», — сказал Гегель. Мне кажется, что вслед за ним и многие другие могли бы повторить эти «гордые» слова, — но не все успевают при жизни добиться гегелевской славы, при которой только и разрушается роскошь такой самоуверенной откровенности. Философы, естественно, ценят свои системы очень высоко: нелегко они им даются, на них ухлопывается целая жизнь. Да и спрос на мировоззрения велик. Человек действительно хочет «понять» мир — и иногда так сильно хочет, что желание заглушает в нем всякую способность критически относиться к представляемым доводам и он с восторгом приветствует даже слабую аргументацию. Теперь никто не скажет: *credo, quia absurdum**, но это не значит еще, что мы вполне эмансипиро-

* Верю, потому что невероятно (*лат.*).

вались от средневекового суеверия, что у нас нет своего *credo* и своего *absurdum*, только, разумеется, приспособленных к духу рационалистически настроенного века железных дорог и электричества. Впрочем, не нужно даже обманывать себя иллюзией новизны. Если порыться в памяти, то для нашего символа веры мы можем найти готовую формулу в пережитках далекой старины. Как ни дисциплинируйте человеческий ум, он все же ухитрится под тем или другим предлогом забраться под какую-нибудь «сень», чтобы на досуге вволю предаться своим порочным наклонностям, главным образом *dolce far niente**. На что, кажется, беспощадно поступает современная методология! «Вере» строжайше воспрещено на выстрел приближаться к областям, где царит строгое научное исследование. Были приняты самые разнообразные способы предупреждения, дабы коварная оболъстительница как-нибудь тайком не нашла себе приюта не только в уме, но и в «сердце» человека. «Вера ненаучна» — теперь это знает даже ребенок, и со школьного возраста нас приучают оберегаться от сближения с особой, навсегда скомпрометировавшей себя такими изобретениями, как астрология, алхимия и т. д. И если вы ознакомитесь с современными учениями о методах, вы уйдете от них совершенно успокоенным: сквозь частую сеть настроенных ими охранных постов, по-видимому, никакая вера не проберется в душу современного человека, будь она даже неза-

* Сладостное безделье (*ит.*).

метнее булавочной головки. В положительности современного знания никто не сомневается, даже самые подозрительные и искушенные люди. Когда Толстой или Достоевский начинали воевать с наукой, они всеми силами старались перенести спор на моральную почву. Наука права, права, об этом разговору быть не может, но она служит богатым, а не бедным, она развивает в людях дурные страсти. Даже Ницше не всегда имел достаточно смелости пред лицом современной науки, и его смущала занятая ею неприступная позиция.

Но, к счастью, все, что есть дело человеческих рук, при ближайшем рассмотрении оказывается несовершенным. Столетия прогрессивной научной работы дали блестящие практические результаты, но в области теоретической мысли новое время почти ничего не сделало, хотя мы и насчитываем длинный ряд громких имен, начиная с Декарта и кончая Гегелем. Наука покорила человеческую душу не тем, что разрешила все ее сомнения, и даже не тем, что она, как это думает большинство образованных людей, доказала невозможность удовлетворительного их разрешения. Она соблазнила людей не своим всеведением, а житейскими благами, за которыми так долго бедствовавшее человечество погналось с той стремительностью, с какой измученный продолжительным постом нищий набрасывается на предложенный ему кусок хлеба. Венцом положительных наук считается социология, обещающая выработку таких условий общежития, при которых нужда, горе и страдания на-

всегда исчезнут с земли. Это ли не соблазн? И разве ради таких заманчивых перспектив не стоит отказаться от призрачных надежд, которыми в прежние времена жило человечество? И на смену старому *credo, quia absurdum* явилось новое, вернее, обновленное и неузнанное *credo, ut intelligam**.

Нужно только понять окружающий мир — и величайший идеал, когда-либо рисовавшийся человеческой фантазии, будет осуществлен. На радостях никто и не заметил, что бедный человеческий разум, руководимый на этот раз самой наукой, этой воплощенной осторожностью и недоверчивостью, снова попал впросак и что вера в «понимание» не имеет решительно никаких преимуществ, сравнительно с другими, раньше властвовавшими над людьми верами. Да к тому же еще идеал, слово, пред которым человечество чуть ли не с колыбели своей привыкло гнуть колени. Где уж тут поверять, подозревать, допрашивать! Нет ни одного философски образованного человека, которому не было бы памятно схоластическое *credo, ut intelligam*, — но все убеждены, что к нам оно никакого отношения не имеет и что мы далеки от того младенческого состояния, при котором вера определяет характер и направление умственных интересов. Мы до того убеждены, что научное воспитание предохранило нас навсегда от возможности несообразных увлечений, что в последнее время даже вновь разрешили открыто приблизиться к себе бедной изгнаннице.

* Верю, чтобы понимать (*лат.*).

«Это нашим предкам опасно было знаться с верой. Невышколенные и некультурные люди — они не умели пользоваться огнем и всегда становились его жертвой. Мы же спокойно будем наслаждаться теплом и светом, ибо знаем все свойства опасной стихии и не боимся их разрушительного действия». Такие и им подобные рассуждения усыпили подозрительность человеческой мысли и привели к неслыханному дотоле торжеству науки. Кому придет теперь охота повторить старый вопрос: в чем истина? Кто не знает, что этот вопрос не имеет никакого смысла с научной точки зрения, ибо, какой бы ни получился на него ответ, это нисколько не повлияет на ход и характер научных изысканий? Наука вперед знает, чего она хочет, и свои стремления формулирует в виде положений, которые она называет аксиомами или не требующими доказательств предпосылками.

II

В последнее время, когда вечные теоретические споры особенно обострили вопрос о происхождении аксиом, в философской литературе наблюдается чрезвычайно важное, на мой взгляд, даже знаменательное явление. В Германии целый ряд ученых философов выступает с попыткой так называемой нормативной теории закона причинности. Существенно нового в этом нет. Нормативная теория есть только своеобразная форма кантианства. Но здесь важно, что современные ученые

считают необходимым особенно резко подчеркнуть те стороны кантовского учения, которые сам знаменитый основатель трансцендентального идеализма не находил нужным выдвигать на первый план. Связь науки с этикой у Канта ясна для всякого и помимо исследований его новейших учеников. Но у него, хоть он и признавал примат практического разума, закономерность явлений природы никогда не изображалась находящейся в прямой зависимости от наших этических требований. У него «закон» деспотически царил и над явлениями внешнего мира, и над человеческой душой. Но этим вся связь исчерпывается. Природа и человек повинуются — Канту этого было вполне достаточно. Современные же мыслители — захотели ли они большего или почувствовали, что сохранить позицию Канта в неприкосновенном виде уже невозможно, — пошли дальше. Они не признают независимого закона для теоретического разума — они его ставят под начало и контроль практического разума и делают попытки этического обоснования самостоятельной у Канта категории причинности. Вместе с Кантом они утверждают, что закономерность не свойственна явлениям внешнего мира, что ее туда привносит с собой человеческий разум, но привносит не потому, что по неисповедимым судьбам он принужден волей-неволей выступать в этой, быть может, и очень низменной и двусмысленной полицейско-административной роли, а потому, что эта роль есть *высшая, самой моралью оправданная и освященная роль*. А раз мораль появи-

лась на сцену — шапки долой, дальнейших разговоров не полагается.

Теперь, быть может, читатель поймет, какой смысл и какое великое значение имел поход Ницше против морали. Немецкие философы, создавшие этическое обоснование закона причинности, шли своим путем и, вероятно, даже не подозревали о существовании Ницше. В свою очередь, Ницше, еще в 70-х годах XIX века оторвавшийся от университетской жизни, да и вообще мало интересовавшийся современными философскими учениями, вероятно, и не слышал ничего о новейших течениях в немецкой философии и менее всего мог думать, что занимается одним делом с официальными представителями этой науки. Правда, он занимался по-своему. В то время, когда в Германии напрягались все силы, чтоб поддержать падающий престиж закономерности, и бросали на карту последнюю и самую драгоценную ставку, мораль — больше уже нечем было рассчитывать, — Ницше высказал неожиданное суждение, что расплата производится фальшивой монетой, что мораль сама требует оправдания и, стало быть, не может отвечать за науку. Этой мысли Ницше с желательной полнотой и отчетливостью нигде не формулировал. Я не уверен даже, что он ясно сознавал ее. По-видимому, он скорей инстинктом чуял, что с наукой до тех пор невозможно бороться, пока не будет свалена ее вечная и могучая союзница — мораль. Инстинкт, как мы видели, не обманул его. Теперь наиболее осторожные люди убеждаются, что основные предпосылки, аксиомы

научного знания держатся только моралью. Такое признание было с их стороны преждевременным? Они не могли думать, что их тысячелетняя мораль потеряет когда-либо свое обаяние? Весьма возможно — но слово сказано и вряд ли когда-нибудь забудется. Толстой, Достоевский и другие пытались восстановить против науки мораль — но их усилия в этом направлении оказались бесплодными. Нравственность и наука — родные сестры, родившиеся от одного общего отца, именуемого законом, или нормою. Временами они могут враждовать меж собой и даже ненавидеть одна другую, как это часто бывает между родными, но рано или поздно кровь скажется и они примирятся непременно. Немцы это знают хорошо. У них везде — в школе, в армии, в морали, в полиции, в философии — один высший принцип: порядок прежде всего. И, спору нет, принцип полезный: стоит только вспомнить, какие блестящие победы на всевозможных поприщах одержали наши дисциплинированные соседи за самое короткое время. Еще недавно они стояли в хвосте европейской культуры, теперь они заявляют, и совершенно основательно, притязания на гегемонию. И если бы наука и мораль ставили себе только утилитарные задачи, нужно было бы признать, что они своего достигли. Но они, как известно, добиваются большего. Они хотят себе суверенных, верховных прав над человеческой душой, и тут снова является старый вопрос, которого, несмотря на все теории познания, человечество никогда не забывало и никогда не забудет. Снова спрашивают: в чем истина?

Наука безмолвствует. Мораль, по привычке, оглушительно выкрикивает старые, потерявшие смысл слова. Но им уже мало кто верит.

III

Мораль научна — наука моральна. Ясно, что теория познания проглядела нечто чрезвычайно существенное. Предпосылка критической философии — разум, в исследовании способности которого она полагает свою главную задачу, есть нечто неизменное, всегда себе равное — совершенно произвольна и ни на чем не основана. Вся уверенность Канта держалась только на его готовности объединить математику с естествознанием под одним общим именем науки. Но откуда такая готовность? Для человека беспристрастного, для человека, принужденного быть беспристрастным, — ибо кто добровольно захочет отказаться от своих страстей и желаний? — тут только открывается во всей своей несомненности одно чрезвычайно важное обстоятельство. Всякий философ-исследователь рано или поздно сбрасывает с себя намозолившую ему спину вязанку чистых идей и делает привал, чтобы зачерпнуть живой воды из эмпирического источника, хотя бы он и дал вначале самое торжественное обещание не прикасаться к эмпиризму. Канту нужно было остановиться, Канту больше всего в жизни нужен был отдых и конец — после того трудного перехода, на который вынудил его своим скептицизмом Юм. Но прямо признаться в своей человеческой слабо-